

# О себе, не только о себе...

Мустай  
КАРИМ

В те далекие времена в наших аулах детям штанишки шили с большим разрезом сзади. Лет до четырех и я беспечно появлялся на людях в таких брючках. Но однажды меня вдруг потрясло чувство стыда, и я запротестовал против такой легкомысленной одежды... Я и сейчас считаю, что начал жить именно с того дня, когда впервые испытал стыд. Думается, если человек в большом и малом лишен этого чувства, значит, он еще не живет.

О моем втором протесте рассказали старшие уже много лет спустя. Дело было вот в чем. Одна из моих бабушек была слепая. Внуки и внучки водили ее по очереди. Я также исполнял свои обязанности поводыря. Однажды, оказывается, я прямо на улице остановился и заявил бабушке: «Ты не бери меня за руки, а держись за подол моей рубашки и иди сзади, иначе люди могут подумать — этого мальчика ведет слепая старуха». С точки зрения ребенка заявление было довольно резонное. Но когда я стал взрослым, мне не всегда удавалось соблюдать такую необходимую порой категоричность. Бывало, менее зрячие, чем я, брались водить меня за руку, а я не говорил: «Отпустите мою руку, сами держитесь за меня!».

С тех моих первых протестов я помню не только себя, но и многое из окружающего меня мира и человеческих судеб. Иные события остались в памяти, как занесенные песком русла высохших рек, а другие и поныне гудят, как водопады. Сотни имен ушли в забвение, и когда-то хорошо знакомые мне черты их лиц поблекли. А десятки имен через годы, через высокие каменные ограды, через расстояние, которое сокращается только с одного конца, и сейчас говорят со мной живым голосом.

Я родился в многолюдной семье, где еще очень ощутимы были родовые устои. Трудно сказать, каким по счету ребенком появился я в доме. Год моего рождения 1919, месяц рождения — октябрь. Так отмечено рукой моего старшего брата Муртазы, который стал первым грамотным человеком в нашем роду.

Наш аул Кляш расположен на холмистой возвышенности в двух километрах от реки Демы, когда-то ставшей нежной и чуть грустной песней Сергея Тимофеевича Аксакова. С наших холмов ночью видны огни Уфы — до нее рукой подать.

Нас зовут башкирскими тептярами. Еще в XIV веке бежавшие от насильного крещения народности Поволжья хлынули в Башкирию. Часть беженцев приняла к себе башкирские общины, получив земельные угодья, обосновались. В ауле Кляш в течение столетий коренные жители смешивались с припущенниками — татарами. Однако лексическая основа речи, обычаи, традиции, обряды больше сохранились башкирские. Духовная культура моих соотечественников складывалась из нравственного и эстетического опыта двух народов.

Дед мой по отцу, Садык, был человек тихий, безобидный и чрезмерно лежачий. Как говорится, и комара не обидит. Тем не менее у него были свои причуды. Обычно, услышав о новорожденном и следуя старому поверью, он бежал к роженице просить разрешения поцеловать в лоб младенца — ведь это якобы помогает очиститься от грехов. Роженицы ему всегда разрешали, потому что знали о безгрешности дедушки. «Какой же у тебя грех?» — говорили ему. «А может, есть, и сам не знаю», — отвечал он. Много забавного говорили о нем. Как-то в голодный год, возвращаясь с сенокоса, один его

товарищ выбился из сил, и дед понес его на спине. А когда самому стало немогу, начал жалостно упрашивать свою жену: «Ты спой, спой, пожалуйста, мне будет легче нести тебя».

Отец был человек иного склада и иного масштаба. Он слыл в ауле человеком основательным, разумным, в меру отзывчивым, в меру ироничным, а шумным был только на пирах и свадьбах. Умер он в 1948 году 82 лет от роду в здравом уме и с не притупившимся чувством юмора. И умер-то он преждевременной смертью. Нагрузил в лесу воз с дровами и стал затягивать аркан. Аркан оборвался, отец упал и, ударившись затылком о мерзлую землю, получил сотрясение мозга. Около года он болел, а перед самой смертью сказал: «Не ропщите, моя жизнь, как тот старый аркан, все равно вскоре должна была оборваться». Мы его похоронили в декабрьскую метель.

А до той метели я с ним прожил много счастливых дней.

У моего отца были две жены. Одну мы звали «Младшая мать», другую — «Старшая мать». Я долго не знал, чей именно я сын, вернее, об этом и не думал. Отец, Младшая мать, мои старшие братья всегда с утра уходили в поле, а мы, малыши, толпились возле Старшей матери, как цыплята около наседки. Она была старая, и, как потом я узнал, много старше даже отца. Но и сейчас, через тридцать лет после ее смерти, я помню все — и лицо ее, и руки, и улыбку, даже цвет ее камзола, украшенного серебряными монетами. Только вот голоса не помню. Это, вероятно, потому, что голоса она никогда ни на кого не повышала. Из наших детских шалостей и проказ, во время которых мы обязательно что-нибудь да ломали или портили из домашней утвари, она никогда не делала печальных историй. Из-за разбитой чашки она не разбивала нам души.

И все младшие были не ее детьми. А с нами еще жили ее осиротевшие внук и внучка, два моих старших брата, Муртаза — по отцу, и Салих — по матери. Салих был пасынком. Моя мать пришла в дом отца с ребенком от первого мужа, умершего через год после женитьбы. Потому трудно сказать, каким по счету ребенком оказался я в доме. Одним словом, нас было довольно много. Все же на всех хватало пищи, приготовленной руками Старшей матери, и ласковых слов, произнесенных ее устами.

Я особенно любил вечернюю трапезу, когда вся семья сидела на кошке вокруг огромной деревянной чаши. Это был не только ужин, а своего рода ежедневный семейный совет. Взрослые говорили о своих дневных трудах и заботах. Мне казалось, все они, даже отец, при этом обращались к Старшей матери, будто прося у нее совета и поддержки. Когда я стал взрослее, начал понимать, что Старшая мать в доме имела большую нравственную власть, и это определялось не положением, а скорее всего ее человеческими качествами.

За той же трапезой Старшая мать обычно рассказывала о детях: кто сегодня какой хороший поступок совершил, какое мягкое слово сказал и какую молитву выучил. О наших проступках и провинностях она никогда ничего не говорила. Когда опустошенная деревянная чаша покидала скатерть, ее место занимал желтый пузатый самовар. Старшая мать раздавала каждому по куску сахара. Мой младший брат Ильяс все время капризничал, требуя два куска. Уговоров он не понимал — слишком еще мал был. Но и на уступки ему не шли. И вот в один из вечеров мой самый старший брат Муртаза берет кусок сахара, предназначенный Ильясу, и раскалывает его пополам. Маленький буян не успел и опомниться, как Муртаза протягивает ему два кусочка, величиной с горошину каждый. Тот ликует!.. В дальнейшем точно так же поступали с яйцом или яблоком. Ильяс был счастлив.

Когда я был маленьким, со мной обходились иначе. Вероятно, у меня была привычка требовать самый большой кусок. Давая мою долю, всегда приговаривали: «Смотрите, какой большой кусок попался Мустафе», — или: «Глядите, глядите, какое красное большое яблоко досталось Мустафе». Конечно, кусок сахара был такой же, как и у всех, и яблоко

было не самое красное — я все это знал. Но верил не глазам своим, а словам, сказанным с такой убедительностью. Эта вера в силу слов сохранилась у меня на всю жизнь, хотя она нередко приносила и огорчения. Но об этом я не жалею.

Первым большим социальным событием, почти сознательным очевидцем которого я явился, была коллективизация. Она ворвалась в быт аула неожиданно и стремительно, как весенний разлив. Иные, как зайцы на затопляемом острове, метались, а другие, как олени, пустились вплавь, ища невидимого берега. Но немало было людей с пылким сердцем и здравым рассудком, которые понимали ход событий и предугадывали их исход. А взбурдаженный люд, нередко раздражаемый душевными противоречиями, не умом, а скорее сердцем понимал, что перемены в укладе деревенской общины неизбежны, что они вызваны жизненной необходимостью. Потому вера в лучшее у большинства брала верх над сомнением, и аул в целом в те дни жил с учащенным пульсом, в повышенном тонусе. Даже старые женщины отрезали со своих камзолов и нагрудных украшений серебряные монеты царской чеканки и без сожаления несли в сельсовет кучи серебра «в задаток на трактор».

Прошла трещина и через наш очаг. Отец, обе матери и средний брат Салих одними из первых записались в колхоз. А старший брат Муртаза, в то время уже женатый, заупрямился и наотрез отказался. В семье произошел раскол. Отец не на шутку рассердился на непокорного старшего сына, который вскоре вынужден был отделиться от нас. Разрыв длился года два, пока своенравный Муртаза не пришел к отцу с повинной.

В нашем ауле раньше часто устраивали так называемую «помочь» (работа миром) во время сенокоса и жатвы, где в основном участвовала молодежь. Это были своеобразные веселые праздники, где прорывство ценилось выше красоты. Часто не очень красивые девушки становились объектом всеобщего внимания и симпатии. Именно там парни примечали своих будущих невест, а старики — будущих снох. Когда образовался колхоз, труд обрел легкость и задор, какие бывали на помочи. Мне и моим сверстникам было радостно выполнять свою посильную работу среди шумных и веселых людей. Лишь иногда меня посещала грусть оттого, что мы редко виделись с моим любимым конем Сивкой, на спине которого я, по сути, и вырос. Бывало, в ночном, когда на рассвете другие мальчишки искали своих лошадей, Сивка по голосу сам меня находил. А теперь он не слышал моего голоса. Да еще не было рядом со мной моего второго друга — Хайрнаса, отец которого был объявлен кулаком. Мой друг стал моим классовым врагом. Его даже в школу не пустили. Только через год выяснилось, что все это было ошибкой.

Склонность к сочинительству, вернее, тщеславное желание вынести свою фамилию на всеобщее обозрение, появилось у меня довольно рано. В первый класс поступил я одиннадцати лет и уже бойко читал и писал. Первое, что я заметил в классе на стенах, — были разные лозунги и изречения великих людей, под которыми в скобках стояли их имена. Лозунги мне понравились. Придя домой, я взял старые газетные листы и, обмакнув палочку в чернила, начал сочинять собственные лозунги. В них я призывал к миру наших соседей, которые вечно ссорились, уличал одноклассника Хамаджана в воровстве — он стянул красный карандаш у учительницы. В одном даже патетически воскликнул: «Да здравствует город Уфа!».

Всему, что я знаю и умею, меня научили другие. Мать учила ходить, брат Муртаза — ездить на коне, Мухаррам, сын Курбана, — плести лапти, тот же брат Муртаза — читать и выводить первые буквы, солдаты — терпению, Тукай и Пушкин — писать стихи.

Мне рассказывали, что, когда я был на фронте, моя состарившаяся мать в январские метели всегда представляла меня идущим против жгучего ветра. Ей непременно хотелось узнать, как трудно мне идти, смогу ли я выдержать напор снежной лавы. В такие дни она сама выходила в степь и долго-долго шла против ветра и радостно восклицала: «Видюжит, видюжит. Он же мною мужчиной рожден!». К тому времени я был уже коммунистом.